

Т. А. Зиновьева

Аппетит, институт

Институт философии лежит в основе моего мироздания.

Папа подносит ко мне телефонную трубку, и я произношу в нее первые в моей жизни осмысленные слова («мама-папа» не в счет, это лишь проба артикуляции).

— аппетит институт...

Аппетит — это про меня. Институт — это про папу. Имеется в виду Институт философии.

Философы — первые представители взрослого человечества (помимо родственников), с которыми я познакомилась. Не с журналистами, мамиными коллегами, а именно с философами. Потому что журналисты работали на работе, а философы тем временем свободно перемещались в пространстве. Их можно было встретить в самых неожиданных местах, например, в метро, в Серебряном Бору, в ресторане «Националь» или в нашей восьмиметровке на ул. Воровского, д. 8/1. Папа как философ тоже свободно перемещался в пространстве, имея мою персону в качестве атрибута. «В одной руке сумка, в другой руке Томка», — говорил он. В этих странствиях по городу на нашем пути то и дело возникали дядя Мираб, дядя Эвальд, дядя Щедровицкий... Вида они были гротескного, похожие на папины карикатуры, которые он рисовал для институтской стенгазеты. Например, тетенька с зубами, выходящими за пределы лицевого контура, — Женя Фролова: у нее на самом деле была такая улыбка. А дядя Есенин-Вольпин и вовсе походил на террориста с картины из Третьяковки — длинное узкое пальто, широкополая шляпа, волосы до плеч. Это в 50-е, когда общественность боролась со стилистами.

Народ в песочнице интересовался социальным происхождением моих родителей.

— Мама — журналист, папа — философ, — отвечала я.

Про маму — понятно: журналисты делают газету. Что такое газета, народ в песочнице представление имел: когда она свежая, ее читают, а когда она испортится, ее употребляют по прямому назначению (туалетной бумаги в 50-е не было). По поводу же папы требовались пояснения.

— Мой папа истопник, он греет наши батареи; мама — дворник, вон она с метлой. А твой папа что делает?

— Философию.

— Как это?

— Он ее пишет.

— О, писатель! Как Чуковский? — уважение к моей персоне возросло.

— Нет, он пишет всякие умные слова, и даже не слова, а такие значки, иксы-игреки...

Уважение к моей персоне тотчас иссякало. Вот если бы мой папа был старьевщиком, страшным грязным дядькой с тележкой, которому взрослые грозятся отдать непослушных детей, тогда бы я была главным авторитетом песочницы. А так...

Спустя лет двадцать описанная ситуация воспроизвелась в Историческом музее, где я проходила преддипломную практику.

— Кто Ваш папа? — спросила пожилая интеллигентная музейская хранительница.

— Философ.

— Чем же он занимается?

— Философией.

— Каким регионом, каким периодом?

— Своим собственным.

— ???

— Он ее сочиняет.

— Сам? Неужели в наше время это возможно?

В представлении советских людей философия — наука раз и навсегда сочиненная Платоном—Аристотелем, Кантом—Гегелем и Марксом—Энгельсом. Ее учат, сдают и забывают за ненадобностью. Самостоятельное же сочинение философии есть нонсенс, если не антисоветчина. И уважение ко мне в ГИМе иссякло...

Народ в песочнице, не удовлетворившись полученными от меня пояснениями, поставил вопрос иначе:

— Где твой папа работает?

— В Институте философии...

Но чтобы не быть и вовсе изгнанной из песочницы за антисоциальность происхождения, я не стала уточнять, что не работает он там, а отмечается.

Институт философии является неотъемлемой частью пространственно-временного континуума моего детства. Он располагался в шаговой доступности от нашего жилища. Папа меня туда водил, когда ему надо было отметитья.

Пока я еще плохо держалась на ногах, меня можно было оставить в комнате без присмотра. Папа рисовал мелом окружность на полу, сажал меня в ее середину, клал туда же игрушки и велел не выползать, полагая, что если я по его возвращении по-прежнему пребывала внутри окружности, следовательно — я и не выползала. О, формальнологическая наивность! Но, заслышав из коридора звуки, свидетельствующие о его возвращении, я немедленно заползала обратно, стараясь не стереть линию.

Потом ходили отмечаться вместе, заодно — пообедать в институтской столовой, а в качестве вознаграждения за обязательку — посетить Музей изобразительных искусств, без чего довольно-таки абсурдистское в целом мероприятие лишалось гедонистического компонента.

Образ Института философии моего детства входил пеший путь до него: от Арбатской площади (тогда еще тесной, не похожей на площадь; вид на кинотеатр «Художественный», если смотреть от «Праги», преграждал дом с молочным магазином) — до ГМИИ. Городская среда 50-х запомнилась мне в сером колорите, наподобие картинки телевизора «Рекорд». Возможно, это абберрация детского восприятия — ведь в поле моего зрения попадало много асфальта. А может быть, виновата гнетущая атмосфера обыденности: двор-колодец, куда выходило окно нашей комнаты в коммуналке, хмурая осенне-зимне-весенняя погода (летнюю Москву не помню) и занудная регламентация всех аспектов жизнедеятельности, не оставлявшая продыху для личного баловства. Народ в песочнице верил в миф, будто по достижении шести лет нам позволят гулять одним, без взрослых, и мы считали годы и месяцы до этой благословенной даты. А пока — папа ведет меня в Институт философии отмечаться.

Мы пересекаем Арбатскую площадь, вступаем на Гоголевский бульвар, самой примечательной деталью которого были бронзовые львы под фонарями, фланкирующими памятник. Узкие покатоности между их передними лапами до блеска отполированы детской обувью — малыши съезжали там, как с горки. Пару раз съезжала и я, и мы с папой продолжали путь по бульвару, заканчивающемуся ар-

кой вестибюля метро «Кропоткинская». За ней, через площадь, еще не испаряется хлорка бассейна «Москва». Вместо него — забор, за ним (куда мы с папой проникали через вездесущую дырку) — цементная трамбовка да пеньки от железных опор начатого каркаса Дворца Советов (их спилили на танки во время войны). Рассказывали, что сюда, за забор, сваливали людей, подавленных на похоронах Сталина — в незапамятные времена, еще до моего рождения, поэтому не страшно. А отсюда рукой подать до Института.

Входим в его двор, минуя ворота — отдельно стоящее руинированное строение с деревьями наверху. Створки ворот заперты, объект надо обходить слева или справа. И нахальная антифункциональность ворот, и хулиганские деревья (как они ухитрились там вырасти?) представляли собою достойную пролегомену как институту, так и философии: нечто античное, обособленное от реальной действительности и недостойное уважения серьезных людей.

Потом ворота за ненадобностью и ветхостью снесли; мне стало их жалко. Теперь ворота восстановили, но не хватает деревьев наверху. Не успели вырасти.

И вот мы в институте. При входе философы отмечают — перевешивают с гвоздика на гвоздик жестяные номерки. Затем лестница, книжный ларек на полпути к вершине. На последнем этаже, где, собственно, и располагаются клетушки философов, коридор полон казенно-рыжих шкафов и слоняются персонажи папиных карикатур. Они беспрерывно разговаривают. Различаю привычные и оттого как бы понятные слова «имплицитный, эксплицитный, имманентный, трансцендентный». Дальше — два варианта времяпрепровождения: томительно присутствовать на заседании сектора логики, где дяди Таванец, Горский (или Пятигорский) и Нарский произносят эти самые слова, или спуститься на первый этаж. Там, под сводами, сидят веселые добрые тетеньки — очень красивая тетя Цветкова и очень темпераментная тетя Тоня Дерюгина. Они в отличие от дяденек философов работают: нависают над бумагами за письменными столами, разговаривают меньше и вразумительнее. И главное — разрешают мне попечатать на машинке. Я уже знаю буквы. Забираюсь на чью-то диссертацию, подложенную мне под попку, чтобы доставать до клавиатуры; молочу по кнопкам указательными пальцами обеих рук, пытаюсь изобразить недавно услышанное «имплицитный эксплицитный имманентный трансцендентный». Получается почти так же красиво, как на странице, напечатанной тетенькой-машинисткой, — густо, без абзацев. Навык машинописи — первая практическая польза, вынесенная мною из Института философии. Я и теперь молочу по клавиатуре

двумя пальцами. Вторая польза — метод сочинительства, пригодный не только для философии, но и для прочих гуманитарных наук: заполнение страниц всякими заковыристыми словами, которых с тех пор я узнала гораздо больше, чем слышала тогда от философов. Например — «пространственно-временной континуум».

Не успеваю допечатать страницу, как папа уже возвращается с заседания сектора, забирает меня от тетенок, и мы идем обедать. Столовых две, на выбор. Одна — в соседнем здании со сводчатыми потолками, чистая и чинная. Сейчас там Рериховский центр (недавно я попала на фуршет одного вернисажа под те же своды, и нахлынули мемории). Другая столовая — в доме, где сейчас зильберштейновский музей, — неопрятная и шумная, с поминутно пирующими компаниями. Под песни «Колумб Америку открыл» и «Что же вы не пьете, дьяволы» мы с папой быстро рубаем казенные котлеты.

Наконец наступает то, ради чего ГМИИ и Институт философии составляют в паре типичный пример диалектического единства и борьбы противоположностей. Одного без другого не бывает, но осознанная необходимость философии и свобода искусства являются собой разительный контраст. Уже доступны публике залы импрессионистов и живописи XX века, исполненные буйной ненормативности. Что эти художники рисуют неправильно, понимала даже я, чей опыт художественного восприятия тогда ограничивался картинками в детских книжках. Но тем больше удовольствия.

— Я тоже так умею, даже лучше! — восклицалось, глядя на Матисса.

И в Институте философии, и в ГМИИ я набралась нахальства, впоследствии весьма пригодившегося мне в жизни.

Недавно прочла в газете, что Антонова, планируя расширение экспозиционных площадей музея, проявляет аппетит к зданию Института философии. Не знаю, как отнесутся к этому философы, а я не против. При условии, что в новую экспозицию будут включены папины стенгазеты и мои художества как имеющие историко-культурную привязку к данному объекту. Неплохо было бы и сотрудников института устроить по совместительству на должности музейных смотрителей, дабы в их жизни и жизни института, кроме административной подчиненности, ничего не изменилось.

А ведь есть в перспективе поглощения института музеем некая экзистенциальная справедливость! Философия — не работа, а искусство, сродни восстанию (аллюзия на дедушку Ленина, призывавшего относиться к восстанию как к искусству). Как и деревья на верхушке институтских ворот, что коренятся не в земной почве, а в памятнике архитектуры. А памятники полагается музеефицировать.

Но Институт философии — это не только обязанность «отмечаться», не только казенные котлеты, не только ГМИИ. Это еще и увеселительные мероприятия: лыжные пикники, турпоходы, елки. На увеселительных мероприятиях я сталкивалась не только с философами, но и с их детьми, народом также специфическим.

В отличие от народа из песочницы они были причастны к мистической тайне родительского поприща и владели профессиональным лексиконом, позволяющим, в подражание взрослым философам, вести глубокомысленные беседы. Сын Таванца, сын Келле с Ковальзоном, сын тети Тони Дерюгиной принимали меня за своего и разочаровывались, когда оказывалось, что я девчонка (я стриглась под мальчика и в те консервативные годы уже щеголяла в брюках, перешитых папой из своих).

Елка в институте философии включала в себя: традиционных Деда Мороза и Снегурочку (ее роль впоследствии исполняла Ольга Мироновна Зиновьева, а тогда — не помню кто), хоровое «раз, два, три, елочка, гори», очередь за подарками (по несколько конфеток, печений и одной мандаринке в тогда еще бумажных пакетах). Я во взятом на прокат костюме клоуна отплясываю модный танец краковяк с Сергеем Дерюгиным, наряженным пиратом. Взрослые привычно галдят на стульях вдоль стен: «эксплицитный, имплицитный». Мы с Сергеем залезаем под елку и уютно устраиваемся на усыпанном опавшими иголками паркете возле обернутого ватой ведра с песком, куда для устойчивости засунули елочный ствол. Елка изнутри — с разноцветными лампочками и блестящими игрушками в хвое — смотрится феерически. Кто-то из детишек снаружи, водруженный на стул, декламирует. Я и Дерюгин беседуем.

— Что он читает? Стишки? Это ничего. А вот был случай: один философский ребенок репетировал с родителями фразу «материя первична, сознание вторично»...

— Ага, знаю, папа рассказывал. Когда пришли гости, родители поставили его, как водится, на стул — а он перепутал и сказал наоборот. Что тут было!

— Ну да, родителей чуть из партии не выгнали. Хотя что тут такого?

— Это же неправильно!

— Подумаешь — неправильно! Мало ли что можно сказануть. Мир же от этого не перевернется?

— То-то и оно, что перевернется. Аристотель (знаешь Аристотеля?)... так вот, он сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну мир.

— Так то ж хохма. Обещать можно что угодно, а кто ему эту точку даст!

— Вовсе не хохма. Аристотель ж не грузчик. Ты видал, чтобы философы что-нибудь переворачивали своими руками? То-то же. Точка опоры — не в буквальном смысле, а в фигуральном.

— Как это?

— Карламаркс (знаешь Карламаркса?) писал: до сих пор философы объясняли мир, а надо его изменить. То есть придумать такие слова, которые скажешь — и все кругом изменится.

— Ага, волшебные слова. Только зачем все изменять?

— Потому что так, как есть, — плохо.

— Вообще-то верно. Плохо. Одна манная каша чего стоит. А что это за слова? Про материю и сознание, что ли? Скажешь наоборот — и манной каши не будет? Попробую...

— Эти или не эти слова — никто не знает. Они секретные. Их придумал дедушка Ленин. Он их сказал, и случилась октябрьская революция. Говорят, есть работы Ленина, где эти слова написаны. Они не вошли в полное собрание сочинений и хранятся в специальном подземелье за семью железными дверьми, а ключ — неизвестно где. Чтобы никто те слова не прочел и опять мир не перевернул.

— Ясно, ведь без манной каши родители утратят власть над детьми.

— Философам на всякий случай запрещают говорить и писать философские слова неправильно: вдруг окажется, что это те самые слова! На то и устроен Институт философии: тут проверяют, правильные слова или нет. По старым книжкам.

— Проверять-то проверяют, а сами только и знают, что всякие слова говорят: и так и эдак, будто ищут те самые. И действительность философам не нравится, все время ее ругают. Но ничего не меняется.

— Они при этом держат фигу в кармане — знак вранья. Тогда слова не действуют. Чтобы подействовали — нужно сказать правду, то есть самим верить в то, что говоришь.

— Значит, когда тот ребенок перепутал сознание и материю, все испугались, что он сказал правду. Говорят же: устами младенца глаголет истина. А мир не перевернулся.

— Может, перевернулся. Разоблачили же Сталина.

— Но советская власть-то не кончилась.

— Думаю, Сталин те ленинские слова знал. Он после Ленина тоже мир перевернул, и опять стало плохо, хуже, чем при царе. И Хрущев те слова знал, и после Сталина обратно все перевернул, восстановил ленинские принципы.

— Тут есть парадокс (знаешь, что такое парадокс? фокус, значит). Когда мир переворачивается, мы все как части мира переворачиваемся вместе с ним, и нам кажется, что все по-старому.

— Ага, а чтобы перевернуть мир, самому же остаться неперевернутым, нужно держать фигу в кармане. Но тогда слова не действуют...

— Надо, чтобы один говорил слова, а другой держал фигу в кармане.

— Давай попробуем. Кто будет говорить, а кто держать фигу?

— Ты что — против советской власти?

— Я против манной каши.

— Ладно, под твою ответственность.

— Сознание первично, материя вторична...

И мир перевернулся.

Ольвия, 1988 год. Археологическая экспедиция, степь да степь кругом. Советская власть еще не кончилась. Я с археологическими товарищами в домике; едим, давясь и ругаясь, манную кашу (манку в экспедиции давали на паек). Вдруг к открытой настезь из-за жары двери подъезжает экспедиционный грузовик. Из него выскакивает чумазый растрепанный дяденька с арбузом и направляется к нам. Ложки товарищей зависли над тарелками.

— Тамара, здравствуй! Я Дерюгин. Помнишь, мы встречались на елке в Институте философии? Я был в костюме пирата, а ты в костюме клоуна. Только я тогда думал, что ты мальчик Том... Вот тебе арбуз.

Товарищи отринули недоеденную манную кашу и принялись за неожиданный десерт.

Потом и советская власть кончилась, и мир еще много раз переворачивался. Да он бесконечно переворачивается — ведь никуда не делся Институт философии, неизменный в переменчивом мире, с его философами, которых хлебом не корми — дай произносить всякие неправильные слова, из которых некоторые вполне могут случайно оказаться теми самими. А фигу в кармане после горбачевской гласности они держать разучились.

Зато я держу ее там всегда. Фигурально.